

ЕЛОВЫЙ РОБИНЗОН

*Рассказ*

...Сказав это, он застыл, глядя поверх надгробия – туда, где в молочном свете растворялись очертания зданий. Ночь, тихо подкравшись, стояла за нашими спинами сплошной чёрной стеной, а здесь, на самом краю кладбища, недалеко от ограды, за которой астенично светились фонари, перемигивались светофоры и время от времени погромыхивал поздний трамвай, возник театр светотени: клены плескали лакированными пятернями, вспыхивали и гасли в мокрой траве красные, желтые и зеленые блики, счастливо улыбающееся лицо на черной плите то скрывалось в темноте, то появлялось вновь, как будто участвуя в нашем разговоре, длившемся уже целую вечность.

– Я видел Бога...

Сказанное никоим образом не было связано с тем, о чем мы до этой минуты разговаривали. Он сказал это как будто не мне, не для меня. Просто произнёс эту фразу, и всё. Констатация факта. Или напоминание – себе самому?

Как бы то ни было, значения этим словам я не придал. Когда-то в прошлой жизни мои друзья – и тот, что сидел со мной рядом на скамейке, и тот, который улыбался нам с могильной плиты – любили эксперименты с подсознанием. Читали разные книги. Пробовали какие-то вещества. Делились со мной впечатлениями. Иногда это было занимательно, но всем этим наркотическим озарениям я не особенно верил. Каких только картин не показывают в этом общедоступном кинотеатре... Одним словом, я приготовился выслушать очередную историю об опыте путешествия в глубины собственного «я». Однако продолжения не последовало. То ли мой собеседник забыл о сказанном, то ли не захотел договаривать. Он долго сидел, молча глядя перед собой. Потом достал новую сигарету, помял её в заскорузлых натруженных пальцах, щелкнул зажигалкой. Мы еще немного помолчали, и я спросил, как он пережил первую зиму...

А встретились мы случайно. Хотя уместно ли говорить о случайности, когда сам воздух, само пространство как будто готовили меня к этой встрече! Был бархатный сентябрьский полдень. Мы серьёзно опаздывали, но уж не знаю, что заставило меня пренебречь общественным транспортом, ума не приложу, какой человеколюбивый черт дернул меня поменять обычный маршрут, однако ноги сами понесли с Васильевского острова через Дворцовый мост, на отвыкшую от иностранцев Дворцовую площадь, где пахло свежими конскими яблоками и шатался в обществе двух

---

*Александр Вергелис родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Сибирские огни», «Слово/Word», «Урал» и других изданиях России и зарубежья. Лауреат премии журнала «Звезда» (2006, 2020), премии имени Беллы Ахмадулиной «Белла» (Верона, 2013), победитель конкурса имени Н.С. Гумилева (2017), премии «Молодой Петербург» (2023). Автор трех книг стихов. Живет в Санкт-Петербурге.*

скучающих императриц ряженный переросток, изображавший Петра Первого. При нашем появлении вся троица бросилась к нам, но я велел моим девочкам не сбавлять темпа, и мы оторвались.

Оставив позади Певческий мост, почему-то покрытый слоем чернозёма, мы бежали дворами Капеллы. В первом дворе стояла толпа Пушкиных. Бакенбарды, цилиндры, фраки, жилеты, трости... Картину золотого века нарушали разве что смартфоны и возгласы на непонятном языке (определённо не на французском). Пушкины были, как полагается, смуглые и холеричные. Они что-то возбуждённо обсуждали, размахивали руками, смеялись, фотографировались.

Сердце мне, как говорится, защемило: я с тоской вспомнил Анатоля, умершего девятью годами ранее. Как всё-таки жаль, что нельзя отправить фотографию на тот свет! Вот бы потешился покойник! Пушкинская тема его занимала. Он от всего сердца любил Наше всё – впрочем, его интересовали не столько стихи А.С., сколько его бакенбарды.

– Кино, что ли, снимают? – поинтересовался я на бегу у одного из Пушкиных – самого маленького.

– Сынимают, – ответил Пушкин. У него был золотой зуб и сильный восточный акцент.

В следующем дворе нас встретила шеренга странных фигур. Человекоподобные объекты, грубо сваренные из железных обрезков, воздевали руки к небу. Я снова вспомнил Анатоля, в отличие от меня, знавшего толк в современном искусстве. И мысленно всё-таки отправил ему фото – не важно, что инсульт убил его ещё в эпоху кнопочных телефонов...

В третьем дворе ничего особенного не было – вьющаяся растительность на стенах, маленькое кафе, скамейки. Уютно, мило, буржуазно. Но в четвертом, последнем, перед нами возник рослый бородач с собачкой, которая была меньше его ботинка. Весь вид его как бы говорил «нет» филистерской умиротворенности третьего двора. Мы посмотрели друг на друга и в одну и ту же секунду воскликнули: «Ба!»

Он заметно поздоровел – раздался в плечах и как будто даже стал на полголовы выше. Впрочем, возможно, дело было в широкой куртке цвета хаки и ботинках на толстой подошве, да ещё в кепке военного вида. Во всём этом дядя Фёдор был похож на какого-нибудь латиноамериканского повстанца. Не думаю, что он косил под Че Гевару, такая одежда просто удобна там, где он жил.

Вот уже седьмой год как он обитал где-то на Псковщине, на самом краю какой-то полузаброшенной деревни – можно сказать, в лесу. И носа отсюда не казал, даже в сетях с тех пор почти не появлялся. Как оказалось, в Питер дядя Фёдор приехал по делу: собирался переписать квартиру на достигшую совершеннолетия дочь. Всего дочерей было три. Квартир тоже три. Старшая получила своё ещё до его «дауншифтинга», как он это называл. Среднюю планировалось осчастливить завтра, и завтра же, не мешкая, уехать восвояси. Младшей только что исполнилось тринадцать, так что следующий, возможно, последний свой визит в родной город он планировал лет через пять. А пока – гулял с собачкой.

– Никто не хочет с ней гулять. А я – хочу, – сказал он в своей фирменной манере – чуть растягивая слова.

Мои девочки, присев на корточки, трепали крохотную бородастую болонку, забыв о музыкальной школе, куда мы так спешили.

– Повезло твоим дочкам с папашей, – сказал я, подумав о том, что моим по части жилплощади повезёт гораздо меньше.

Король Лир... Так мы с покойником Анатодем, у которого был сын, дразнили дядю Фёдора, когда у него родилась третья девочка. Уж не знаю, было ли в этой шутке что-то от пророчества,

но теперь король раздавал всё своё многометражное королевство в историческом центре Петербурга, оставляя за собой одну только древнюю избенку в лесу.

– Повезло... Да и мне спокойней. Отдарился на всю жизнь. Теперь не надо ничего придумывать на дни рождения, на Новый год...

Когда дядя Фёдор рассуждает в подобном роде, никогда не поймешь, серьёзно он говорит или шутит.

– А я как чувствовал, что тебя встречу. Вот только что дядю Анатоля вспоминал. Представляешь, тут в соседнем дворе...

Я хлопнул себя по лбу и схватил его за рукав.

– Черт побери, ты знаешь, какой сегодня день? Сегодня же день его рождения!

Встретиться мы условились на выходе из метро «Волковская» в семь – раньше я не мог. Дядя Фёдор приехал первым, сидел на парапете, курил, таращась в телефон. Я было потащил его в продуктовый, но водку и хлеб он уже взял. Оставалось купить цветы. Цветочного киоска на прежнем месте не оказалось. Я запаниковал – времени искать магазин не было, до сумерек оставалось не больше часа. Дядя Фёдор, как всегда, сохранял спокойствие. Вдоль мутной Волковки на газоне росла в изобилии сныть, белые зонтики которой он принялся срывать – молча, деловито, как на своем псковском огороде. Я присоединился, и вскоре у нас образовался довольно пышный букет. Не хуже каких-нибудь гвоздик.

Много раз бывавший на месте, где упокоился наш Анатолий, я тем не менее умудрился заплутать. Наверное, потому, что всегда приходил сюда не в день его рождения, а в день смерти – в полуголом ноябре, почти зимой. Теперь же листва заслоняла собой привычные ориентиры, и когда мы, наконец, нашли его могилу, оказалось, что она плотно укрыта со стороны дорожки разросшимися кустами и низкими ветвями клёнов. Образовалась своего рода беседка. Её хозяин приветливо смотрел на нас с чёрного камня, пока дядя Фёдор ввинчивал в сырой песок пластиковый стаканчик с водкой, на который был положен кусок ржаного.

Темнело быстро – как в лесу. В старых русских кладбищах с их обильной растительностью вообще есть что-то от лесов или, скорее, от запущенных парков – заметил я, когда поминальные формулы были произнесены, а бутылка опустела наполовину. Я вдруг вспомнил, как мы с Анатодем, еще студентами, забрели как-то в мае на Смоленское, и греясь на припёке, возле старинной могилы распили бутылку крепленого. Откуда-то слетелось множество щебетливых птах, они без умолку свистели в молодой листве над нашими головами, и ничего упительнее того кладбищенского пикника я в своей жизни не помню. Юность, беззаботность, мечты о будущем... Мир мёртвых, в который мы так легкомысленно вторглись со своим копеечным вином, со своими плавлеными сырками и сигаретами «Прима», с разговорами о девочках – этот мир находился под нашими ногами, но не осознавался нами как нечто реальное, как что-то, имеющее отношение к нам, двадцатилетним, бессмертным.

Теперь, в осенних сумерках я смотрел на каменную плиту, я думал об Анатоле, ставшем этой плитой, этими кустами и клёнами, этими сумерками, я думал о его жизни, так неожиданно оборвавшейся в роковые тридцать семь, и было мне его по-прежнему жаль, но острого ощущения потери, человеческой недостачи, когда то и дело мысленно обращаешься к умершему, как бы на долю секунды забывая о его непоправимом отсутствии, уже давно не было – его смерть стала частью моей жизни, его небытие – неустранимой приметой действительности. И только утренняя пробежка по двору Капеллы, только вид ряженных в онегинских цилиндрах заставил меня

машинально хватиться давнишней пропажи, ощутить фантомную боль в области памяти, увидеть продолговатую дыру, зияющую в пространстве.

То же самое, думаю, чувствовал и дядя Фёдор. Не только память об Анатоле, но вся картина прежней городской жизни для него поблёкла, утратила четкость очертаний, однако наша встреча в четвёртом дворе Капеллы как будто включила свет в полутёмной комнате, и он снова увидел всё – и полузабытого меня, и себя, прежнего, как в зеркале – худого, безбородого, смешливого.

Водка развязала языки. Я приступил к расспросам. Да, он так и живет там, в своей деревне. Работает, что называется, дистанционно – благо электричество там еще есть и интернет худо-бедно ловится. Зарабатывает хорошо, но живет анахоретом – половину зарплаты отсылает бывшей жене, половину перечисляет на помощь каким-то беженцам. Деньги ему, в общем-то, не нужны. Он уже привык обходиться малым: соль, спички, интернет. Кормит огородом, лесом, рекой. Научился вялить рыбу, солить грибы и варить черничное варенье. Женщины? А что женщины... На самом деле можно и без них. Но кое-какие «тёти» там все-таки есть. Нет, совсем дикой его жизнь не назовешь. Вот, например, притащил откуда-то ванну, поставил в своей баньке, греется там зимой, отмокает. Зимой труднее всего – дом старый, щелястый, дров уходит уйма. Но ему нравится, возвращаться он не намерен.

Неужели его совсем не тянет в город? Неужели никакой ностальгии? А Нева, а Эрмитаж? Нет,нисколько. Никакой. И всё-таки, как приехал, сел в первый попавшийся трамвай и так и ехал до самого кольца, просто глядя в окно. Потом пересел на другой, потом на третий...

О «дауншифтинге» дядя Фёдор заговорил давно – лет пятнадцать назад, еще когда мы по пятницам собирались у него за картами. Оказывается, уже тогда с ним случилась та история, о которой он никому не рассказывал, и о которой поведает мне чуть позже, а пока мы говорим о книгах – книги там у него есть, часть своей городской библиотеки он перевёз в деревню. По-прежнему любит фантастику. Вот, недавно перечитывал «Жука в муравейнике». Отличная вещь... Я вспомнил его квартиру на Мойке, стены которой от пола до четырехметровых потолков сплошь состояли из книжных полок, по которым дядя Фёдор с обезьяньей ловкостью забирался, как по лестнице, и прыгивал вниз с нужной книгой в зубах. Большой он оригинал, всё-таки, наш дядя Фёдор.

– Я видел Бога...

Вдали чахло светились фонари. Светофоры мигали. Покойник жизнерадостно улыбался.

...А первая зима, наверное, самая трудная... Да, именно – самая трудная. Все силы уходят на то, чтобы согреться. И не сойти с ума. Выходишь из дома, смотришь – белая пустыня. Ослепнуть можно от этой белизны. И никого нет. Ну, потом полегче стало – привык. Человек ко всему может привыкнуть.

– Но никому не советую...

Пить? Пить там опасно. Соседа нашли утром на крыльце собственной избы. Окоченевшего. Приполз ночью пьяный в лютый мороз, не смог дверь открыть. Лицо ему лисы обглодали.

Я осторожно интересуюсь насчет прочих удовольствий. Моему воображению рисуется любовно обустроенный парничок за банькой, хлопоты трудолюбивого огородника... Но нет, с травкой и тому подобным баловством он давно покончил – еще в городе. Не интересно. Ну а грибы? Жить возле леса и ни разу не соблазниться? Помнится, дядя Фёдор заваривал когда-то «грибной чай» из сушеных поганок. Стоял потом весь вечер столбом, бормотал что-то невнятное. Нет, и этот вопрос в молоко: по грибы ходит, да не по те. Белых там много, подосиновиков. В этом году хорошо насытил. Значит, с веществами завязал? Так что ты там говорил насчет Бога?

Он будто не слышит. Но помолчав с минуту, начинает рассказывать – сначала медленно, как будто нехотя, но потом всё более оживляясь. Значит, дело было давно, можно сказать, в прошлой

жизни. Ездили с женой и дочками на Свирь, подальше от цивилизации. Однажды утром взяли удочки, сели в резиновую лодку. Далеко не отплывали, копошились в камышах у самого берега. Внезапно поднялся сильный ветер, лодку понесло. Отец семейства изо всех сил работал веслами – бесполезно. Вынесло их на середину реки, долго крутило, качало на волнах, а спустя примерно полчаса прибило к незнакомому берегу. Ветер стих так же внезапно, как и поднялся. Натерпевшиеся страху, усталые, рыболовы сошли на берег, огляделись. Вокруг был один сплошной лес, никаких признаков человеческого присутствия.

– И вдруг вижу – бараны...

– Бараны?

– Бараны. Но странные – у них рога такие... Большие. И такие... закрученные, – дядя Фёдор рисует указательными пальцами две размашистые спирали у висков. – Я и не знал, что такие бывают. Подошли к нам, стоят, смотрят. Штук семь. И глаза такие... умные. Мои испугались – сзади река, спереди эти рогатые. Я лодку к березке веревкой привязал, жену и девчонок в нее посадил – так безопаснее. Успокоил их, сидите, говорю, а я, мол, погляжу. Интересно мне стало. А бараны меня обступили, стоят, смотрят.

– А потом?

– А потом появился он...

– Кто – он?

– Еловый Робинзон. Так он себя назвал.

– Почему Робинзон, более или менее понятно. А почему еловый?

– Не знаю. В лесу потому что, наверное... Кругом сплошные ёлки. И дом у него еловый. Не дом даже, а шалаш – из веток, из лапника. Он меня пригласил посмотреть – тут же, недалеко от берега, на полянке. Много лет, говорит, тут живу. Мы пошли, и бараны с нами, как собачки – совсем ручные...

Рассказывая, дядя Фёдор как будто преобразился. Даже голос у него стал другим. Ну вот, подумал я, встретил городской житель на лоне девственной природы отшельника, да попросту бомжа лесного, и напала на него этакая блажь, пропёрло его, как говорится. Прорубило. Бывает... Но дядя Фёдор как будто расслышал шелест моих мыслей:

– На бомжа не похож. На вид обычный человек. Пожилой. Борода седая. Как был одет? Не помню. А глаза вот запомнил. Вы, говорит, баранов моих не бойтесь, они смиренные. Стал меня расспрашивать, кто да откуда. Долго говорили... Я как будто из времени выпал. И из пространства, можно сказать, тоже. И хорошо так... Не объяснить... Вот мы с тобой сидим, выпили, кайфово нам. Но любые сравнения неуместны. Ни с кем никогда в жизни я так не разговаривал. Спрашивает, где, мол, живу, и тут же, не дождавшись ответа, подробно мне описывает мой дом на Мойке, набережную, соседей... И так хорошо на душе, легко так, уходить не хочется. Глаза у него такие, как бы это объяснить... Смотрю в них и чувствую, что сейчас заплачу – как в детстве.

Сколько помню дядю Фёдора, он всегда мог ошарашить неожиданной откровенностью, но никогда не был склонен к излияниям подобного рода. Житейский цинизм и боязнь сентиментальности были свойственны им обоим – и ему, и Анатолию. Поэтому, наверное, он ничего и не рассказывал. Или по другой – гораздо более серьёзной причине так долго держал это в себе, а потом внезапно всё бросил, уехал в глушь, и только сейчас, спустя столько лет...

– А живёт вот прямо в этом шалаше. В еловом доме. Как же вы зимой-то, говорю? А он – я с баранами зимуя, бараны меня греют. А потом ласково так говорит – ну ладно, вы назад плывите, пора, мол, ветра больше не будет. Ну, мы и уплыли.

– Интересно... Так что же, ты думаешь, это был... Бог?

– Не знаю. Может, и нет. Но я что-то почувствовал... Понимаешь? Некое присутствие... Как это называется? Религиозное переживание? Откровение? Кто знает, как оно на самом деле даётся...

Блуждающее пятно света выхватило из сумерек улыбающееся лицо Анатоля. Эта фотография мне никогда не нравилась – на ней наш Анатолий выглядит как-то жлобовато, тут он похож скорее на бандита, чем на того, кем он на самом деле был – эстетом, циником, запойным книголюбом. Я снова остро ощутил его отсутствие в своей жизни. Было бы здорово обсудить всё это втроем. Что бы он сказал о Еловом Робинзоне и его баранах? Промолчал бы, скептически пожевав пухлыми своими губами? Посмеялся бы?

Мне на секунду с ужасающей отчётливостью представилось то, что лежало под нашими ногами на двухметровой глубине, в страшном почерневшем ящике... Неужели это – единственная правда? А где же всё то, что наш исчезнувший друг выудил из своих книг? Где вся его эрудиция, где парадоксы, остроты, интеллектуальные импровизации? Где вся его ёрническая Пушкиниана? Где любовь к выпивке и романтическим приключениям? Где теперь обитает его глумливый смех? Где хранится его память о нас с дядей Фёдором, о наших достопамятных попойках, карточных сражениях? Неужели всё так просто кончается? Неужели всё завершается гнилым ящиком, прелыми листьями?

– В общем, не знаю, что это было, – помолчав, подытожил дядя Фёдор. – Но именно тогда я решил, что уеду. Навсегда.

Он снова закуривает и долго молчит, глядя в истекающую бледным светом даль. Что дальше? Он не знает. Но единственное, чего он хочет для себя в этой жизни – стать таким же, как Еловый Робинзон. Когда-нибудь оборвать последние связи с миром, завести баранов, которые будут греть его зимой.

Я не знаю, что ему на это сказать. Я оборачиваюсь. Я вижу ночь, стоящую за нашими спинами.